



## А. М. СКАБИЧЕВСКИЙ

### Наш исторический роман

<...>

Родоначальником беллетристики считается у нас Карамзин. Это не совсем верно, так как и до Карамзина не мало было у нас беллетристики, но вся она была до такой степени лубочна и лишена каких бы то ни было литературных достоинств и до такой степени ныне она забыта, что за Карамзиным все-таки остается звание родоначальника, так как упростивши литературный язык и дерзнувши впервые *писать, как говорят*, он первый начал писать повести легко и удобочитаемые. Ему же принадлежат и первые попытки исторических повестей. Но, к сожалению, исторические повести как Карамзина, так и современника его Нарезного, показывают только нам, до какой степени люди того времени были чужды какого бы то ни было чутья исторической действительности.

В этом нет ничего удивительного. Как Карамзин, так и Нарезный<sup>1</sup> воспитались на ложном классицизме. В молодости они зачитывались: Сумарокова, Хераскова, Озерова<sup>2</sup>, Княжнина<sup>3</sup> и проч. Ложный классицизм очень часто прибегал к нашему историческому прошлому и любил выставлять героями то Гостомысла<sup>4</sup> и Вадима, то Рюрика<sup>5</sup>, Ярополка<sup>6</sup>, Дмитрия Донского<sup>7</sup> или Дмитрия Самозванца<sup>8</sup>, — но во всех поэмах и трагедиях из старой русской жизни не было и следа ни исторической правды, ни хотя какого-нибудь исторического колорита. Перед вами проходит ряд отвлеченных ходульных олицетворений различных страстей, добродетелей и пороков, то необыкновенные по своей доблести герои, то злодеи такие страшные, что мороз подирает по коже при одном взгляде на них, одним словом злодеи, которые так прямо и говорят о самих себе:

Я ведаю, что я нежалостный зла зритель,  
И всех на свете сем безстудных дел творитель.

(Сумарокова «Дмитрий Самозванец»).

Рюрики и Гостомыслы произносят длинные, напыщенные речи, которые оказываются целиком переведенными из различных трагедий Корнеля<sup>9</sup> и Расина<sup>10</sup>. Вообще нужно заметить, что наш ложный классицизм при всем своем рабском подражании французским образцам имел и свою особенность, заключающуюся в том, что в то время, как классические герои французской трагедии смахивали на современных французов, у нас они ни на что не смахивали, положительно можно сказать, не имели никакого образа и подобия человеческого.

Понятно, что для развития исторического романа школа эта была весьма плохая. Не много помог и тот сентиментализм, который внес в нашу литературу Карамзин. Правда, с появлением сентиментализма превыспренняя кровавая трагедия была заменена слезною драмою, а ходульный герой с вулканическими страстями обыкновенным простым смертным, но только этот простой смертный оказался чересчур уж чувствителен и плаксив, и если в повести из современной жизни, какова, например, «Бедная Лиза», избыток чувствительности и плаксивости поражают нас как нечто крайне приторное и неестественное, то в исторической обстановке эти необходимые атрибуты сентиментализма представляют ряд невообразимых курьезов. Такое именно впечатление крайней несообразности сентиментализма с допетровскою стариною производит первая историческая повесть Карамзина — «Наталья, боярская дочь», написанная им в 1793 году<sup>11</sup>.

В начале повести Карамзин предпосылает своему рассказу вступление, в котором он высказывает свое умиление перед старою Русью и любовь к давнопрошедшим временам. «Кто из нас, — говорит он, — не любит тех времен, когда русские были русскими: когда они в собственное свое платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своим языком, по своему сердцу, то есть говорили, как думали? По крайней мере я люблю сии времена, люблю на быстрых крыльях воображения летать в их отдаленную мрачность, под сению давно истлевших вязов искать бородатых моих предков, беседовать с ними о приключениях древности, о характере славного народа русского и с нежностью целовать ручки у моих прабабушек, которые не могут насмотреться на своего почтительного

правнука, не могут наговориться со мною, надивиться моему разуму. Потому что я, рассуждая с ними о старых и новых модах, всегда отдаю преимущество их подкапкам<sup>12</sup> и шубейкам перед нынешними *bonnets à la...* \* и всеми галло-альбионскими нарядами, блистающими на московских красавицах в конце осьмагонадесять века»... и т. д.

Но иное дело умиляться перед русскою стариною, иное дело знать и понимать ее, и хотя далее Карамзин и говорит, что старая Русь известна ему более, нежели многим из его сограждан, но на деле показывает только, какое смутное представление имели в то время об этой старине даже такие люди, как Карамзин, воспитавшийся под влиянием Новикова, который, как известно, всю жизнь возился с русскою стариною.

Так мы видим, что на первом плане в повести парадирует московский боярин Матвей Андреев, «человек богатый, умный, важный слуга царский и по обычаю русских великий хлебосол». — Желая охарактеризовать его гражданские доблести, Карамзин говорит, что «когда царю надлежало разобрать важную тяжбу, он призывал себе в помощь боярина Матвея, и боярин Матвей, кладя чистую руку на чистое сердце, говорил: *сей прав* (не по такому-то указу, состоявшемуся в таком-то году, но) *по моей совести; сей виноват по моей совести* — и совесть его была всегда согласна с правдою и совестью царскою. Дело решалось без замедления: правый подымал на небо слезящее око благодарности, указывая рукою на доброго государя и доброго боярина; а виноватый бежал в густые леса, скрыть стыд свой от человеков».

Для характеристики же хлебосольства боярина Матвея Карамзин говорит, что каждый двунадесятый праздник поставлялись длинные столы в его горницах, чистыми скатертьми накрытые, и боярин, сидя на лавке подле высоких ворот своих, звал к себе обедать всех мимоходящих бедных людей, сколько их могло поместиться на жилище боярском. «После обеда все неимущие братья, наполнив вином свои чарки, восклицали в один голос: “Добрый, добрый боярин и отец наш! Мы пьем за твое здоровье! Сколько капель в наших чарках, столько лет живи благополучно!” Они пили, и благодарные слезы их капали на белую скатерть».

У боярина Матвея была дочь любезная Наталья, составлявшая «венец его счастья и радости»; описывая красоту ее, Ка-

---

\* чепчиками à la... (фр.).

рамзин представляет читателю «вообразить себе белизну итальянского мрамора и кавказского снега; он все еще не вообразит белизны лица ее — и представя себе цвет Зефировой любовницы<sup>13</sup>, все еще не будет иметь совершенного понятия об алости щек Натальиных». Когда Наталье минуло семнадцать лет или, выражаясь языком Карамзина, «семнадцатая весна жизни ее наступила; травка зазеленелась, цветы расцвели в поле, жаворонки запели — и Наталья, сидя поутру в светлице своей под окном, смотрела в сад, где с кусточка на кусточек порхали птички, и нежно лобызаясь своими маленькими носиками, прятались в густоту листьев. Красавица в первый раз заметила, что они летали парами — сидели парами и скрывались парами. Сердце ее как будто бы вздрогнуло — как будто бы какой-нибудь чародей дотронулся до него волшебным жезлом своим! Она вздохнула — вздохнула в другой и в третий раз — посмотрела вокруг себя — увидела, что с нею никого не было, никого, кроме старой няни (которая дремала в углу горницы на красном весеннем солнышке) — опять вздохнула, и вдруг бриллиантовая слеза сверкнула в правом глазу ее, потом и в левом, и они выкатились, одна капнула на грудь, а другая остановилась на румяной щеке, в маленькой нежной ямке, которая у милых девушек бывает знаком того, что купидон целовал их при рождении...»

Одним словом, случилось с любезною Натальей вот что: «с небесного лазоревого свода, а может быть, откуда-нибудь и повыше, слетела, как маленькая птичка колибри, порхала, порхала по чистому весеннему воздуху и влетела в Натальино нежное сердце — потребность любить, любить, любить!!! <...> Вот вся загадка; вот причина красавицыной грусти — и если она покажется кому-нибудь из читателей не совсем понятною, то пусть требует он подробнейшего изъяснения от любезнейшей ему осьмнадцатилетней девушки...»

Из всех этих выдержек читатель может в достаточной мере уразуметь, при чем тут старая русская жизнь и древность. — Единственные хоть сколько-нибудь исторические черты заключаются разве только в том, что сентиментальная барышня в духе современниц Карамзина живет в терему, встречается со своим любезным не иначе, как в церкви, и затем этот любезный Алексей Любославский, подкупивши нянюшку, проникает в терем для того, чтобы объяснить ей в любви опять-таки вполне во вкусе 90-х годов прошлого столетия. Далее оказывается, что прекрасный молодой человек в голубом кафтане с золотыми пуговицами, сын опального боярина, находится в некотором

отношении на нелегальном положении и живет в дремучем лесу, куда он привозит Наталью, похитив ее и обвенчавшись с нею тайно. — И опять-таки как это нелегальное положение, так и похищение понадобилось Карамзину вовсе не ради соблюдения исторического колорита, а единственно для того, чтобы изобразить излюбленное сентиментализмом счастье с милым в лесу в бедной хижине под соломенной кровлею. Одним словом, вся суть рассказа заключается в следующей сцене: «Таким образом прошла зима; снег растаял; реки и ручьи зашумели, земля опушилась травкою и зеленые почечки распустились на деревьях. Алексей выбежал из своего домика, сорвал первый цветочек и принес его Наталье. Она улыбнулась, поцеловала своего друга — и в самую сию минуту запели в лесу весенние птички. *Ах! Какая радость! Какое веселье!* Сказала красавица: *мой друг! Пойдем гулять!* — Они пошли и сели на берегу реки. “Знаешь ли, сказала Наталья супругу своему — знаешь ли, что прошедшей весною не могла я без грусти слушать птичек? Теперь мне кажется, будто я их разумею и одно с ними думаю. Посмотри! здесь на кусточке поют две птички — кажется, малиновки — посмотри, как они обнимаются крылышками, они любят друг друга, так, как я люблю тебя, мой друг, и как ты меня любишь! Не правда ли?”» Всякий может вообразить себе ответ Алексея и разные удовольствия, которые весна принесла с собою для наших пустынников.

Но если до сих пор рассказ очень мало имел точек соприкосновений с допетровскою стариною, то далее он совершенно выходит из исторических рамок. Возгорается война с литовцами, и муж Натальи Алексей спешит на войну, чтобы загладить и грех своего отца перед царем, и свою собственную войну перед боярином Матвеем. — Наталья же, переодевшись в мужское платье, следует за своим мужем на поле брани и там, выдавая себя за младшего брата Алексея, закрывает его щитом своим от вражеских ударов. В конце концов русские побеждают и победою своею оказываются обязанными исключительно Алексею. Он с триумфом въезжает в Москву, и затем следует трогательная сцена всеобщего примирения и прощения.

Как ни кажется нам все это курьезно, но до какой степени в свое время эта первая историческая повесть на Руси производила в продолжение по крайней мере тридцати лет глубокое и обаятельное впечатление, это мы можем судить по роману Загоскина «Юрий Милославский». Мы видим, что Загоскин завязал любовную интригу в своем романе совершенно так же, как завязана она у Карамзина, т. е. встречу героя с героиней в

церкви, назвал своего героя почти так же, как и Карамзин, а затем закончил свой роман с еще большим сходством.

<...>

## <Сочинения А. Скабичевского>

В 2 т. Т. 1. — 940 с. СПб., 1903. Стб. 210—213

Для общества, при его крайней дикости было немаловажным прогрессом уже и то, что оно после высокопарно-громких од, поэм и трагедий с завываниями, настраивавшими сердца читателей постоянно на патриотически-торжественный лад, начало зачитываться еще при Екатерине переводными романами Ричардсона, Клариссой<sup>14</sup>, Памелой и Грандисоном, чувствительным путешествием Стерна<sup>15</sup> и сентиментальными сочинениями Бакуляр Арно;<sup>16</sup> вместе с этим на театре начали появляться мещанские чувствительные драмы. Все эти теперь давно забытые произведения читались когда-то с таким же страстным увлечением, с каким ныне читаются романы Шпильгагена<sup>17</sup>. Молодые люди и барышни начали бредить Элоизами<sup>18</sup>, Памелами;<sup>19</sup> называть друг друга Агатоном<sup>20</sup>, Эльвирами<sup>21</sup> и пр. Жизнь начала делиться на две противоположные половины: на скучную, обыденную прозу, к которой начали относить всю будничную практику жизни, и божественную поэзию, заключающуюся в сладкой чувствительности, таинственной симпатии сердец и мечтательном упоении природой. Проливать умиленные слезы на благоухающий букет цветов, глядя на закат солнца, или бродить по берегу пруда, в котором утопилась бедная Лиза, и рыдать о ее злосчастной судьбе считалось в то время таким же прогрессом, каким в настоящее время считается делать ботанические экскурсии или устраивать женский труд, и как ни приторна, как ни искусственна кажется нам сентиментальность современников Карамзина, в свое время она было прогрессом: молодые люди, занимавшиеся умиленными воздыханиями, заливавшиеся беспрестанно слезами и сажавшие цветы на гроб своего друга Агатона или возлюбленной Батильды, были во всяком случае и гуманнее, и развитее тех юношей предшествовавшего поколения, которые, едва научившись подписывать фамилии, из-под ферулы дьячка или темного выходца из Франции записывались в полк и делались развратными петиметрами в свете и рабски приниженными исполнителями